Люксембург

ДУША

русской

ЛИТЕРАТ.





РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ

ЕГ54
Д 943

ДУША РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПЕТРОГРАД
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1922

РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ

ДУША РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО
Л. Я. КРУКОВСКОЙ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ А. Г. ГОРНФЕЛЬДА



ПЕТЕРБУРГ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1922

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
2008

1989

ЕГ54 р
Д 943

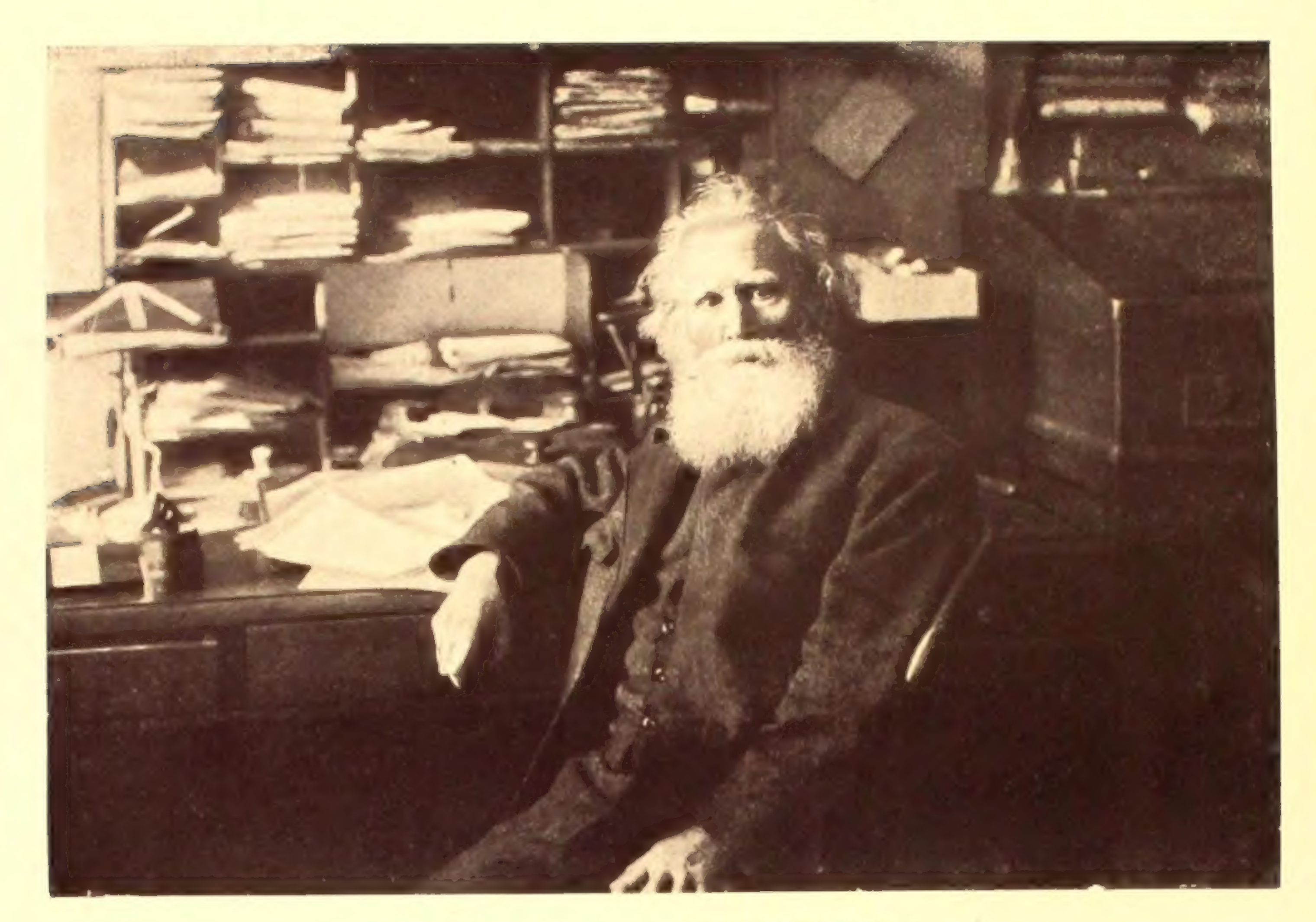
Библиотека
Института Ленина
при Ц. К. В. К. П. (б.)

1720
27

Р. В. Ц. № 1053.
Петербург. Гиз. № 988.
Отпечатано 3.000 экз.
в 1-й Государственной
Типографии.

137083.

У



ВЛАДИМИР ГАЛАКТИОНОВИЧ КОРОЛЕНКО.

ДУША РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

I.

«Моя разноплеменная душа нашла тогда свою родину, и этой родиной стала прежде всего русская литература»,—говорит Короленко в своих воспоминаниях. Литература, сделавшаяся для Короленки отчизной, родиной, национальностью, и украшением которой стал он сам, представляет по своей истории единственное в своем роде явление.

Целые столетия от средних веков до нового времени, до последней трети XVIII века в России царила темная ночь, могильная тишина, варварство. Не существовало ни обработанного литературного языка, ни собственного стихосложения, ни научной литературы, ни книжной торговли, ни библиотек, ни журналов, ни центров духовной жизни. Гольфштрем Возрождения, оросивший все страны Европы и по волшебству вызвавший к жизни цветущий сад мировой литературы, потрясающие бури реформации, палящее дыхание философии XVIII века, — все это не коснулось России. В царской империи еще отсутствовали органы, необходимые для восприятия лучей света западной культуры, не было духовного чернозема, на котором могли бы приняться ее семена. Скудные литературные памятники тех времен в наши дни напоминают своею безобразной необычайностью произведения искусства Соломоновых или Ново-Гебридских островов Между ними и искусством Запада, повидимому, не существует никакого близкого сродства, никакой внутренней связи.

Затем происходит как бы чудо. После нескольких робких попыток создать национальное умственное движение в конце XVIII в. наполеоновские войны зажигают, подобно молнии, и впервые будят в царской империи национальное сознание, как результат глубочайшего унижения России; затем позже, торжество коалиции двинуло русскую интеллигентную молодежь на запад, в Париж, в сердце европейской культуры и привело ее в соприкосновение с новым миром.

Как бы в одну ночь расцвела русская литература, готовая, в сверкающем доспехе, точно Минерва из головы Юпитера, возникла собственная национальная художественная форма, язык, соединяющий в себе благозвучие итальянского, мужественную силу английского, благородство и глубину немецкого языка, выросло бьющее ключем изобилие талантов, яркой красоты, мыслей и чувств.

Долгая, темная ночь, могильная тишь были лишь видимостью, лишь призраком. Лучи света с запада таились лишь как скрытая сила, зародыши культуры выжидали под землей только благоприятного момента для своего роста. Русская литература возникла вдруг, как бесспорный сочлен в кругу европейской литературы. В ее жилах обращалась кровь Данте, Рабле, Шекспира, Байрона, Лессинга, Гете. Львиным прыжком она наверстала то, что упустила в течение тысячелетия, и, как равная, вошла в семью мировой литературы.

Удивителен этот ритм в истории русской литературы, замечательна аналогия его с новейшим политическим развитием России: они способны сбить с толку не одного простодушного представителя школьной мудрости.

Но отличительной чертой этой внезапно столь пышно расцветшей русской литературы является то, что она народилась из оппозиции к господствующему режиму, из духа борьбы. Эта черта заметно отражается на ней в течение целого XIX века. Этим объясняется богатство и глубина ее духовного содержания, совершенство и оригинальность ее художественной формы, но, главным образом, ее творческая и движущая общественная сила. Русская литература стала под властью царизма, как ни в одной стране и ни в какие времена, могучей силой общественной

жизни и оставалась на своем посту целое столетие до тех пор, пока ее не сменила материальная мощь народных масс, до тех пор, пока слово не стало плотью. Именно художественная литература завоевала для полуазиатского деспотического государства место в мировой культуре, пробила возведенную самодержавием китайскую стену и построила мост между Западом и Россией для того, чтобы появиться там не в качестве только берущей, но и дающей, не только ученицей, но и наставницей. Достаточно назвать три имени: Толстой, Гоголь и Достоевский.

Короленко в своих воспоминаниях характеризует своего отца—чиновника эпохи крепостного права в России, как типичного представителя психологии честных людей того поколения. Короленко-отец чувствовал себя ответственным только за свои личные поступки. Едкое чувство ответственности за социальную неправду было ему чуждо. «Бог, царь и закон» на его взгляд выше всякой критики. Как уездный судья, он чувствовал себя призванным лишь применять законы с самой кропотливой добросовестностью. «Что сами законы могут быть плохи — это опять лежит на ответственности царя перед Богом, — он, судья, так же мало ответствен за законы, как и за то, что иной раз молния с высокого неба убивает неповинного ребенка»... Социальный строй в своем целом относился поколением сороковых и пятидесятых годов в России к области стихийного, незыблемого. Бессильная к сопротивлению среда могла лишь гнуться под плетью начальства, как под напором урагана, в надежде и ожидании, что беда пройдет. «Да,—говорит Короленко,—это было цельное настроение, род устойчивого равновесия совести. Внутренние их устои не подрывались самоанализом, и честные люди того времени не знали глубокого душевного разлада, вытекающего из сознания личной ответственности за весь общественный порядок»... Только подобное мировоззрение и является настоящей основой власти «божьей милостью», и до тех пор, пока непоколебимо держится это мировоззрение — сила самодержавия велика.

Было бы ошибочным считать характеризуемую Короленко психологию специфически русской или связанной лишь с эпохой крепостного права. Подобное настроение общества, свободного от

разъедающего самоанализа и внутреннего разлада, воспринимающего «богоугодную покорность», как нечто стихийное, и исторические судьбы, как некое ниспослание с небес, за которое человек столь же мало ответствен, как и за случайное поражение молнией невинного ребенка—подобное настроение может мириться с самыми разнообразными политическими и социальными укладами. И в самом деле его можно встретить и в самых новейших условиях, и оно именно характеризует психологию немецкого общества в продолжение всей мировой войны.

В России это «устойчивое равновесие совести» стало нарушаться в широких кругах интеллигенции уже в шестидесятых годах. Короленко наглядно изображает этот духовный переворот в русском обществе, причем он показывает, как именно его поколение преодолело «крепостническую» психологию и было захвачено новым течением, преобладающей нотой которого был разъедающий, мучительный, но творческий дух общественной ответственности.

Заслугой русской литературы является именно то, что она разбудила это высокое гражданское чувство в русском обществе, подкопала глубочайшие психологические корни самодержавия. Она, с своей стороны, с самого своего возникновения, в начале XIX века, никогда не отрицала социальной ответственности, не забывала разъедающего, мучительного духа общественной критики.

С тех пор, как с Пушкиным и Лермонтовым она широко развернула перед обществом в несравненном блеске свое далеко видное знамя, ее жизненной целью стала борьба с мраком, невежеством и гнетом. С отчаянной силой потрясала она социальными и политическими оковами, натирала себе ими раны и кровью своего сердца честно оплачивала эту борьбу.

Ни в одной стране не бросается так в глаза, как в России, недолговечность самых выдающихся представителей литературы. Они умирали и гибли десятками в цветущем возрасте, почти юношами 25—27 лет, или же—в лучшем случае—едва пережив 40 лет, гибли на виселице, от открытого или замаскированного дуэлью самоубийства, сумасшествия, преждевременного истощения. Так был казнен в 1826 г. благородный певец свободы Рылеев, вождь восстания декабристов. Так пали жертвой дуэли

в расцвете своих дарований гениальные творцы русской поэзии— Пушкин и Лермонтов. Так же рано погиб основатель литературной критики и поборник гегелевской философии в России— Белинский, равно как Добролюбов. Затем и прекрасный, нежный поэт Кольцов, песни которого, подобно одичавшим садовым цветам, глубоко укоренились в русской народной поэзии. Так погибли творец русской комедии Грибоедов и его более великий преемник Гоголь. В новейшее время оба блестящих беллетриста — Гаршин и Чехов. Остальные томились десятки лет в тюрьме, на каторге, в ссылке—как основатель русской периодической печати Новиков, как вождь декабристов Бестужев, как князь Одоевский, Александр Герцен, Достоевский, Чернышевский, Шевченко, Короленко.

Тургенев рассказывает мимоходом, что он в первый раз вполне сознательно наслаждался пением жаворонка где-то близ Берлина. Это случайное замечание представляется мне очень характерным. Жаворонки поют в России не хуже, чем в Германии. Обширное русское государство хранит такое множество столь разнообразных красот природы, что чуткая душа поэта могла бы на каждом шагу совершенно отдаться чувству наслаждения природой. Тургеневу мешала спокойно наслаждаться красотами природы у себя на родине именно мучительная дисгармония общественных условий, постоянное гнетущее чувство ответственности за вопиющий социальный и политический строй. От этого чувства нельзя было никогда отделаться, и своим постоянным сверлением где-то в глубине души оно не давало совершенно забыться ни на минуту. Лишь заграницей, оставив позади себя тысячи гнетущих картин родины и очутившись среди чужих условий, которые всегда наивно импонировали русским своею благоустроенною внешнею стороною и материальной культурой, русский писатель мог беззаботно, полной грудью, отдаться чувству наслаждения природой.

Правда, нет ничего ошибочнее, как на этом основании представлять себе русскую литературу как тенденциозное искусство в грубом смысле, или как оглушительные фанфары свободы, как исключительное изображение «бедных людей». Или даже считать всех русских писателей революционерами, по меньшей

мере прогрессистами. Шаблоны вроде «реакционер» или «прогрессист» сами по себе еще мало что значат в искусстве.

Достоевский является, по крайней мере в своих позднейших сочинениях, определенным реакционером, благочестивым мистиком и ненавистником социалистов. Его изображения русских революционеров представляют собой злобные карикатуры. Мистические поучения Толстого отливают по меньшей мере реакционными тенденциями. И все-таки оба они своими произведениями потрясают, возвышают, освобождают нас. Это оттого, что не их исходная точка реакционна, что не социальная ненависть, узкосердие, кастовый эгоизм, приверженность к существующему порядку владеют их мыслями и чувствами, а, наоборот—широкая гуманность и глубокое чувство ответственности за социальную несправедливость. Именно реакционер Достоевский является художественным защитником «Униженных и оскорбленных», как гласит название одного из его произведений. И лишь выводы, к которым — каждый по своему — приходят как он, так Толстой, лишь выход, который они надеются найти из социального лабиринта, ведет на ложные пути мистики и аскетизма. Но у истинного художника социальный рецепт, предлагаемый им, является второстепенным делом: решающую роль играет источник творчества, его животворящий дух, а не сознательно поставленная им себе цель.

Точно так же в русской литературе, хотя бы и в значительно меньшем объеме, мы находим направление, которое вместо глубоких, мировых идей Толстого или Достоевского, призывает к более скромным идеалам: к материальной культуре, современному прогрессу, гражданской человечности. К талантливейшим представителям этого направления принадлежат из старого поколения — Гончаров, а из младших — Чехов. Последний в свое время высказал характерное суждение, возражая против аскетически-морализирующей тенденции Толстого: «В паре и электричестве больше любви к человеку, чем в половом воздержании и вегетарианстве». Но и это, несколько трезвенное «культурническое» течение в России естественно, не так, как у французских или немецких писателей, изображающих золотую середину, дышит не сытым филистерством и пошлостью, а юношески пылким тяготением к куль-

туре, сознанием собственного достоинства и инициативой. Особенно Гончаров в своем «Обломове» возвысился до изображения человеческой беспечности, которое заслуживает занять место в галлерее крупных человеческих типов, имеющих общее значение.

Есть, наконец, в русской литературе также представители декадентства. К ним следует причислить один из самых блестящих талантов поколения Горького—Леонида Андреева. Его художественные произведения дышат ужасающими гнилостными, могильными испарениями, под тлетворным дыханием которых гибнет всякая радость жизни. Но корень и сущность этого русского декадентства диаметрально противоположны источникам искусства Бодлера или д'Аннунцио. У них в основе лишь пресыщение новейшей культурой, чрезвычайно утонченный, но по существу могучий эгоизм, не находящий удовлетворения в нормальной жизни и поэтому хватающийся за ядовитые возбуждающие средства. У Андреева безнадежность вытекает из души, под напором гнетущих социальных условий подавленной страданием. Андреев, как и все лучшие русские писатели, глубоко проникся всеми страданиями человечества. Он пережил японскую войну, первый революционный период, ужасы контр-революции 1907—1911 г.г. и изобразил их в потрясающих картинах, как «Красный смех», «Рассказ о семи повешенных» и т. д. Теперь, он, подобно своему «Элеазару», который, возвратясь из царства теней, не может больше побороть дыхания смерти и бродит среди живых, «как наполовину обглоданный смертью огрызок». Источник этого декадентства типично русский: это избыток социального сочувствия, под влиянием которого рушится в личности способность к сопротивлению и активности.

В этом социальном сочувствии именно заключается особенность и художественное величие русской литературы. Захватить и потрясти может только тот, кто сам захвачен и потрясен. Талант и гений в каждом отдельном случае являются бесспорно «божьим даром». Но величайшего таланта еще недостаточно для продолжительного влияния. Кто может отрицать талант и даже гений аббата Монти, который воспевал в дантовских терцинах то убийство римской чернью посла французской революции, то победы этой революции, то австрийцев, то директорию, то — во

время бегства перед русскими—сумасбродного Суворова, то Наполеона, то опять императора Франца, всегда прославляя соловьиными песнями каждого победителя. Кто стал бы отрицать большой талант Сент-Бева, создателя формы литературного essay, который своим блестящим пером оказывал услуги одной за другою почти всем партиям Франции, сжигая сегодня то, чему поклонялся вчера, и обратно.

Для устойчивого влияния, для истинного воспитания общества нужно больше, чем талант — нужна поэтическая личность, характер, индивидуальность, коренящиеся в твердыне законченного многообъемлющего миросозерцания. И именно это миросозерцание столь необыкновенно изощрило тонко вибрирующую социальную совесть русской литературы, ее способность проникнуться психологией разнообразных характеров, типов, социальных положений. И это болезненно содрогающееся сострадание придает эти роскошные сверкающие краски ее образам. Именно это неустанное искание, это напряженное раздумье над социальными загадками сделало ее способной охватить своим художественным взором социальный строй во всем его объеме и внутренней сложности и зафиксировать в великих произведениях.

Убийства и преступления совершаются ежедневно повсюду. «Парикмахерский подмастерье Икс убил и ограбил капиталиста Игрека. Суд приговорил его к смертной казни». Подобные сообщения в трех строках каждый из нас читает в своей утренней газете, пробегает по ним равнодушным взором, спеша скорее узнать последние новости скакового поля или посмотреть репертуар театров на ближайшую неделю. Кто, кроме уголовной полиции и статистиков, интересуется убийствами? Разве только еще уголовные романисты и кинематографы.

Достоевский был глубоко потрясен тем фактом, что человек может убивать человека, что это совершается ежедневно, вокруг нас, в среде нашей «цивилизации», за стеной нашего обывательского домашнего мира. Точно так же, как для Гамлета преступление его матери разорвало все человеческие связи, потрясло все мироздание, так для Достоевского «распалась связь времен» пред лицом того, что человек может убить человека. Он не находит покоя, он чувствует ответственность, лежащую за этот ужас на

нем, на каждом из нас. Он должен уяснить себе психологию убийцы, его страдания, проследить его муки до самых затаенных уголков его души. Он проникся всеми этими мучениями и был поражен страшным выводом: убийца сам—несчастнейшая жертва общества. И страшным голосом забил Достоевский тревогу, он будит нас от тупого равнодушия нашего культурного эгоизма, передающего убийцу уголовной полиции, прокурору, палачу или тюрьме, стараясь таким образом сложить с себя ответственность. Достоевский заставляет нас пережить все муки убийцы и, в конце концов, повергает нас уничтоженными на землю. Кто раз пережил его Раскольникова, допрос Мити Карамазова в ночь после убийства его отца, кто пережил «Записки из мертвого дома», тот никогда больше не сможет укрыться, как улитка, в скорлупу филистерства и самодовольного эгоизма. Романы Достоевского представляют собой самое страшное обвинение, брошенное в лицо буржуазному обществу: истинный убийца, губитель человеческих душ—это *ты!*

Никто не умеет так жестоко мстить обществу за его преступление, совершонное над отдельным человеком, подвергать его такой мучительной пытке, как Достоевский—это его специфический талант. Но и все духовные вожди русской литературы точно так же смотрят на убийство, как на обвинение против существующих условий, как на преступление против убийцы, как человека, и возлагают ответственность за него на нас всех, на каждого в отдельности. Поэтому-то все выдающиеся таланты, как зачарованные, постоянно возвращаются к теме великого уголовного преступления для того, чтобы представить его нам в величайших художественных произведениях, нарушить наш невозмутимый покой: Толстой во «Власти тьмы» и «Воскресении», Горький — в «На дне» и в рассказе «Трое», Короленко в рассказе «Лес шумит» и в своем чудном сибирском «Убивце».

Проституция представляет собою столь же мало специфически русское явление, как и туберкулез. Это, скорее, самое международное из установлений социальной жизни. Но и проституция, несмотря на свою почти господствующую роль в современной жизни, официально, в виде условной лжи, не считается нормальною составною частью современного общества, а трактуется

как нечто, лежащее за его стенами, как его отбросы. Русская литература изображает проститутку не в пикантном стиле будуарного романа или в духе слезливой сентиментальности тенденциозных сочинений, а также не как таинственного, хищного зверя, не как «духа земли». Ни одна литература в мире не дает картин более страшного реализма, чем грандиозная картина разгула в «Братьях Карамазовых» или в «Воскресении» Толстого. Но при этом русский художник видит в проститутке не «падшую», а человека, которого психика, страдания и внутренняя борьба захватывают целиком. Он облагораживает проститутку, дает ей удовлетворение за совершенное над ней обществом преступление, давая ей при этом соперничать с самыми нежными и чистыми образами женщин из-за сердца мужчины. Он украшает ее голову розами и возносит ее, как Магадэва баядерку, из чистилища ее разврата и душевных страданий на высоту нравственной чистоты и женского героизма.

Но не только страшные, исключительные явления на сером фоне будничной жизни, а и сама эта жизнь, заурядный человек с его горем внушает социально обостренному взору русской литературы глубокий интерес. «Человеческое счастье»—говорит Короленко в одном из своих рассказов—«честное человеческое счастье дает душе что-то целительное и возвышающее. И я думаю всегда, знаете ли, что люди *обязаны* в сущности быть счастливыми». В другом рассказе под названием «Парадокс» он влагает в уста от рождения безрукого калеки слова: — «Человек создан для счастия, как птица для полета». В устах несчастного калеки подобное изречение есть очевидный парадокс. Для тысяч и миллионов людей не случайные физические пороки, а социальные условия делают человеческое «призвание быть счастливым» столь же парадоксальным.

Замечание Короленки заключает в себе на самом деле важное правило социальной гигиены: счастие делает людей духовно здоровыми и чистыми; оно, подобно солнечному свету над открытым морем, лучше всего дезинфицирует воду. Это значит также, что при уродливых условиях общественной жизни, — а уродливыми являются в сущности все условия, основанные на социальном неравенстве,—разнообразнейшие духовные пороки должны превра-

титься в массовое явление. Угнетение, произвол, несправедливость, бедность, зависимость, а также ведущее к односторонней специализации разделение труда, как постоянные явления, духовно формируют людей в известном направлении, и это происходит на обоих полюсах: угнетатель и угнетенный, тиран и низкопоклонник, спесивец и блюдолиз, беспощадный делец и беспечный лентяй, педант и гаер—все являются продуктом и жертвой своих условий.

Именно эти особенные психологические уродства, так сказать,—неправильный рост человеческой души под влиянием обычных социальных условий, изображены Гоголем, Достоевским, Гончаровым, Салтыковым, Успенским, Чеховым и другими с бальзаковской силой. Трагедия пошлости самого обыкновенного, заурядного человека, как ее изобразил Толстой в «Смерти Ивана Ильича», не имеет подобных во всей всемирной литературе.

Но особенно категория мелких плутов, без определенного занятия, непригодных для настоящей работы, мечущихся между прихлебательством и случайными столкновениями с уложением о наказаниях, эти отбросы буржуазного общества, от которых это общество на Западе отмахивается краткими надписями: «Нищим, разносчикам, музыкантам вход воспрещается»,—эта категория типа отставного чиновника Попкова у Короленко издавна находит в русской литературе живой художественный интерес и добродушную улыбку понимания. С душевной теплотой Диккенса, но без его благодушно-буржуазной сантиментальности, а скорее с глубоким реализмом Тургенев, Успенский, Короленко, Горький причисляют всех этих «потерпевших крушение», как и преступников и проституток, просто к человеческому обществу, как равноправных, и благодаря именно этому широкогуманному взгляду возникли произведения величайшего художественного значения.

С особенной нежностью и тонкостью изображается в русской литературе детский мир, как-то: у Толстого в «Войне и мире» и в «Анне Карениной», у Достоевского в «Братьях Карамазовых», у Гончарова в «Обломове», у Короленко в рассказах «В дурном обществе» и «Ночью», у Горького в рассказе «Трое». Существует роман Зола «Page d'amour» из цикла Ругон-Маккаров,

где центром действия является захватывающе изображенная душевная драма заброшенного ребенка. Но здесь нездоровая от рождения, болезненно чувствительная девочка, смертельно пораженная в сердце кратким, эгоистическим любовным опьянением своей матери, увядает как едва распустившийся бутон—и служит лишь объектом исследования экспериментального романа Зола, манекеном, иллюстрирующим тезис о наследственности.

Для русских ребенок и его психика составляют самостоятельный и полноценный объект художественного интереса; это такой же человеческий индивидуум, как и взрослый, только более естественный, менее испорченный и, главным образом, более беззащитный пред лицом социальных влияний. Кто «соблазнит одного из малых сих, тому лучше повесить жернов на шею» и т. д. Но современное общество «соблазняет» миллионы этих малых, лишая их самого ценного, самого незаменимого из того, что человек может назвать своим—счастливого, беззаботного, гармоничного детства.

Как жертва социальных условий, детский мир с его горем и радостями особенно близок сердцу русских писателей и изображается ими не в фальшивых, искусственных тонах, с которыми взрослые большею частью считают нужным спускаться в мир детей, а в прямом, серьёзном тоне товарища, без всякого безосновательного возвеличения себя как старшего, даже с внутренним страхом и благоговением перед нетронутым «*человеческим*», дремлющим в каждой детской душе, как перед Голгофой жизни, предстоящей каждому ребенку.

Важным симптомом духовной жизни культурных народов является место, занимаемое в их литературе сатирой. В этом отношении Германия и Англия—два разных полюса в европейской литературе. Для того, чтобы протянуть нить между Гуттеном и Гейне, необходимо было бы причислить к сатирикам Гриммельсгаузена, что все же можно сделать только с натяжкой. И даже в таком случае промежутки представляют картину страшного упадка в течение трех столетий. От гениально-фантастического Фишарта с его богатой натурой, в которой явно чувствуется дыхание Возрождения до трезвенно-причудливого Мошерота, и

от Мошероша, который все-таки дерзко теребил за бороду сильных мира сего, до маленького филистера Рабенера—какое падение! Рабенер, издевавшийся над «дерзостью» тех, которые осмеливались представлять в смешном виде князей, духовенство и «высшие сословия», тогда как честный немецкий сатирик должен прежде всего научиться быть «верноподданным», одним этим уже обличает гибель немецкой сатиры. В послемартовской литературе сатира высокого стиля почти отсутствует. В Англии сатира с началом XVIII в., со времени великой революции, получила беспримерное развитие. Английская литература не только дала целый ряд таких мастеров сатиры, как Мандевиль, Свифт, Стерн, сер Филипп Фрэнсис, Байрон, Диккенс, среди которых первое место принадлежит, конечно, Шекспиру за одну фигуру Фальстафа—она стала здесь из привилегии аристократов духа общим достоянием, была, так сказать, национализована. Она сверкает с этого времени в политических памфлетах, брошюрах, парламентских речах, газетных статьях точно так же, как и в поэзии. Она до такой степени превратилась в насущную потребность, нормальный воздух для англичан, что, напр., в рассказах для благовоспитанных девиц какой-нибудь Крокер можно найти столь же едкое изображение английской аристократии, как и у Уайльда, Шоу или Гельсуорси.

Расцвет сатирической литературы часто связывают со старой политической свободой в Англии и объясняют ею. Русская литература, которая в этом отношении может быть поставлена рядом с английской, доказывает, что это не столько зависит от государственного строя, сколько от духа литературы, не столько от учреждений, сколько от взглядов руководящих слоев общества.

В России сатира господствовала со времени возникновения новейшей литературы, во всех ее областях, и в каждой из них дала выдающиеся образцы. Поэма Пушкина «Евгений Онегин», повести и эпиграммы Лермонтова, басни Крылова, комедии Островского и Гоголя, стихотворения Некрасова, из которых его сатирическая поэма «Кому на Руси жить хорошо» дает даже в тяжелом немецком переводе понятие о чудесной свежести и красочности его творчества,—все это, каждое в своем роде, образ-

новые художественные создания. Наконец, русская сатира дала гениального Салтыкова-Щедрина, изобревшего для яростного бичевания самодержавия и бюрократии совершенно своеобразную литературную форму, собственный непереводимый язык и оказавшего глубокое влияние на духовное развитие общества.

Итак, русская литература соединяет, вместе с высоким нравственным пафосом, художественное понимание всей гаммы человеческих чувств. И она создала среди материальной бедности царизма, в огромной тюрьме, собственное царство духовной свободы и пышной культуры, где можно было дышать и принимать участие в интересах и духовных стремлениях культурного мира. Вот почему она могла создать и социальную силу, воспитать поколение за поколением и стать для лучших, как Короленко, истинной родиной.

II.

Короленко насквозь поэтическая натура. Над его колыбелью витал густой туман суеверий. Не тех развращающих суеверий современного декадентства больших городов, неискоренимо свирепствующих, напр., в Берлине в виде спиритизма, гадания на картах и молений о здравии, а наивные суеверия народной поэзии, столь же чистые и пряно-ароматные, как и вольный ветер украинских степей и миллионы диких ирисов, тысячелистников и шалфея, цветущих там среди высокой в рост человека травы. В душной атмосфере людской и детской в родительском доме Короленко ясно чувствуется, что его колыбель стояла в близком соседстве от волшебной страны Гоголя, с ее домовыми, ведьмами и языческими рождественскими привидениями.

Гарный Луг также вызывает живое воспоминание о мире Гоголя, о миргородских обывателях Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче, но еще с сильным польским налетом, так как Волынь недалека от Литвы, родины прежнего сельского шляхетства и его бессмертного барда Мицкевича.

Короленко, по своему происхождению, является одновременно поляком, украинцем и русским, и еще ребенком ему приходилось выдерживать натиск трех «национализмов», из которых каждый

требовал «кого-нибудь ненавидеть и преследовать». Все подобные искушения рано разбивались о здоровую человечность мальчика. Польские традиции обвевали его лишь как последнее умирающее дыхание исторически побежденного прошлого. Украинский национализм отталкивал его прямую натуру смесью маскарадного фатовства и реакционной романтики. А грубые методы официальной обрусительной политики по отношению к угнетенным полякам и униатам на Украине были сильным предостережением от русского шовинизма для него, нежного мальчика, которого всегда инстинктивно влекло к слабым и угнетенным, а не к сильным и торжествующим. От борьбы трех национальностей, поприщем которой служила его родная Волынь, он нашел прибежище в гуманности

Семнадцати лет от роду материально предоставленный после смерти отца всецело себе, он отправился в Петербург для того, чтобы ринуться в водоворот университетской жизни и политического брожения. После трехлетнего учения в технологическом институте он поступил в московскую сельско-хозяйственную академию. Но уже через два года его планы будущего, как и многих из его поколения, были разрушены «высшею властью». Как участник и оратор студенческой демонстрации, Короленко арестован, исключен из академии и сослан в Вологодскую губернию на север Европейской России, а позже отправлен на жительство в Кронштадт под надзор полиции.

Через несколько лет он вернулся в Петербург для того, чтобы строить новые планы жизни. Он изучил здесь сапожное мастерство для того, чтобы, согласно своим идеалам, ближе подойти к рабочим слоям народа и одновременно достигнуть многостороннего развития своей личности. Но в 1879 г. он был снова арестован и на этот раз сослан дальше на северо-восток, в отдаленнейший уголок Вятской губернии.

Но и с этим Короленко справился, благодаря своей бодрости. Он старается как-нибудь устроиться в новом месте ссылки и усердно занимается вновь изученным ремеслом, чтобы таким способом добывать средства к жизни. Но ему не суждено было долго пользоваться покоем. Неожиданно, без всякой видимой причины, он был препровожден в Западную Сибирь, оттуда снова в Пермь, из Перми уже на самый крайний восток Сибири.

Но этим не кончились его странствия. В 1881 г., после убийства Александра II, вступил на престол новый царь Александр III. Короленко, служивший в то время в управлении железной дороги, принес вместе с другими служащими обычную присягу новому правительству. Но это сочли недостаточным. Короленко, в качестве «политического ссыльного», должен был еще присягнуть отдельно, как частное лицо. Он—как и все прочие ссыльные—отказался от этого предложения и был сослан за это в полярную пустыню Якутской области.

Это была, несомненно, «пустая демонстрация», хотя Короленко вовсе не был настроен демонстративно. Существующие условия нисколько не изменились бы материально и непосредственно от того только, что один ссыльный где-то в сибирской тайге, близ полярного круга, присягнул или не присягнул царскому правительству в верноподданстве. Но в царской России существовал обычай производить подобные «пустые демонстрации». Впрочем, это практиковалось не в одной России. Разве упорное «а все-таки она вертится» Галилея не представляет собой такую же «пустую демонстрацию», без всякого практического следствия, кроме мести святой инквизиции истерзанному пыткой и темницей человеку? И все же для тысяч людей, имеющих лишь самое туманное представление об учении Коперника, имя Галилея навсегда связано с этим красивым жестом, в котором совершенно несущественно то, что он даже и не имел места в действительности. Именно легенды, которыми человечество любит украшать своих героев, доказывают, насколько подобные «пустые демонстрации», несмотря на их неосязаемую материальную пользу, являются необходимыми в общем духовном хозяйстве.

Четыре года Короленко должен был страдать за отказ от присяги в жалком селении полудиких кочевников, на берегу Алдана, притока Лены, в сибирской тайге при зимней температуре в 40—45° мороза. Но все лишения, одиночество, жалкая обстановка, суровые картины тайги, оторванность от культурного мира не могли нарушить духовную эластичность и солнечный темперамент Короленко. Он принимает деятельное участие в скудной жизни и интересах якутов, он прилежно пахал, косил сено и доил коров. Зимой он шил обувь для туземцев и писал

иконы... Короленко описывает впоследствии этот период «жизни заживо погребенных»—по выражению Джорджа Кеннана о жизни якутских ссыльных, в своих рассказах без жалобы, без всякой горечи, даже с юмором, в картинах самой нежной, поэтической красоты. Тем временем зрело его художественное дарование, и он собирал богатую добычу из впечатлений природы и психологических наблюдений.

Возвратившись в 1885 году из ссылки, стоившей ему, с краткими перерывами, почти десяти лет жизни, он выступил с небольшим рассказом «Сон Макара», который одним взмахом поставил его на-ряду с большими художниками русской литературы. Среди свинцовой атмосферы 80-х годов этот первый вполне зрелый плод молодого таланта произвел впечатление первой песни жаворонка в серый февральский день. Быстро, один за другим, последовали дальнейшие очерки и рассказы: «Очерки сибирского туриста», «Лес шумит», «За иконой», «Ночью», «Судный день», «Река играет» и др. Все они носят одни и те же основные черты творчества Короленко: чарующие картины природы и настроений, милая, свежая естественность и сердечное участие к «униженным и оскорбленным».

Но эта сильная социальная нота в сочинениях Короленко не носит в себе ничего поучающего, воинственного, апостольского, как у Толстого. Она является просто частью его любви к жизни, его доброй натуры, его жизнерадостного темперамента. При всем величии и великодушии его взглядов, при всем отсутствии шовинизма, Короленко насквозь *русский* писатель, быть может, самый национальный из больших прозаиков русской литературы. Он не только любит свою страну, он влюблен в Россию, как юноша, влюблен в ее природу, в интимные красоты каждой местности исполинского государства, в каждую сонную речку, в каждую тихую окаймленную лесом долину, влюблен в простой народ, в его типы, в его наивную религиозность, в его природный юмор и его напряженное раздумье. Короленко чувствует себя в своей сфере не в городе, не в удобном купе вагона, не в шуме и торопливости современной культурной жизни, а только на большой дороге. С котомкой за плечами и с собственноручно вырезанным посохом в руке, «с легким потом странника» шествовать

вперед, подвергаться случайностям, то следовать с толпой набожных богомольцев за чудотворной иконой, то беседовать с расположившимися на берегу реки у ночного костра рыбаками, то, замешавшись в пеструю толпу крестьян, лесоторговцев, солдат и нищих на сонно ползущем, маленьком еле живом пароходишке прислушиваться к их разговорам—вот образ жизни, наиболее приятный для него. И во время этих странствий он является не только наблюдателем, как тонкий, избалованный аристократ Тургенев. Для Короленко не составляет никакого труда после нескольких слов близко подойти к людям из народа, войти в их тон, окунуться в толпу.

Таким способом он обошел пешком почти всю Россию. Здесь он на каждом шагу упивался красотами природы, наивной поэзией первобытности, вызывавшей улыбку и у Гоголя. Здесь он с восторгом наблюдал стихийную фаталистическую флегматичность русского народа, в мирные времена производящего впечатление невозмутимого и неистощимого, а в бурные моменты обнаруживающего героизм, величие и стальную силу совершенно так же, как та чудная река в его рассказе, которая при обычном течении тихо и покорно плещется в своих берегах, а во время разлива вздымается, становясь гордым, нетерпеливым, великолепно грозным потоком. Здесь, в непосредственном и непринужденном общении с природой и простым народом, Короленко заполнял свою записную книжку свежими, пестрыми впечатлениями, из которых почти в неизмененном виде, еще покрытые блестящими каплями росы, обвеянные запахом земли, создались его очерки и рассказы.

Своеобразным созданием творчества Короленко является «Слепой музыкант». По видимости чисто психологический опыт, рассказ, строго говоря, посвящен теме не художественной. Прирожденные физические недостатки могут, правда, быть источником многих конфликтов в человеческой жизни, но сами по себе находятся вне человеческой воли и воздействия, вне всякой вины и возмездия, исключая те случаи, когда они, как явление наследственности, делают преступление родителей проклятием для детей. Поэтому физические недостатки, как в литературе, так и в пластических искусствах, изображаются лишь эпизодически или с сатирической целью для того, чтобы еще более заклеймить духовное

безобразие человека, как Терсит у Гомера так и заикающиеся судьи в комедиях Мольера и Бомарше, или же с добродушно-юмористическим оттенком, как на жанровых картинках нидерландского Возрождения, напр., на эскизе калеки Корнелиса Дюсарта.

Совершенно иначе у Короленко: душевная драма слепорожденного, мучимого неудержимым стремлением к свету, которое он не может когда-либо удовлетворить, представляет собой центр завязки, а развязка, даваемая Короленко, неожиданно снова приводит к основной ноте его искусства и русской культуры вообще. Его слепой музыкант переживает духовное возрождение, становится духовно зрячим, отрешившись от эгоизма своего безъисходного страдания для того, чтобы стать выразителем душевных и физических нужд всех слепых. Центральным эпизодом рассказа является первый публичный благотворительный концерт слепого, который неожиданно варьирует на своем инструменте известную мелодию слепых уличных певцов в России и делает ее темой своей импровизации, которая вызывает у взволнованной публики пламенное сочувствие. Социальный элемент, солидарность с массовым страданием является здесь спасением и просветлением как для отдельного лица, так и для всех вообще.

III.

Полемическим характером русской литературы вызывается то, что граница между беллетристикой и публицистическими произведениями далеко не столь резко очерчена, как это имеет место в настоящее время на Западе. В России часто одно переходит в другое, как и в Германии в те времена, когда Лессинг указывал пути буржуазии и попеременно, при помощи театральной критики, драмы, философско-богословской полемики, эстетического исследования, старался проложить путь новому мировоззрению. Но в то время как Лессинг, по своей трагической судьбе, всю жизнь оставался одиноким и непонятым, в России длинный ряд выдающихся талантов, борцов за свободное мировоззрение, возделывали попеременно разнообразнейшие области литературы. Александр Герцен вместе со значительным талантом романиста соединял гениальное перо журналиста и умел своим

«Колоколом» будить в 50-х и 60-х годах из-за границы всю мыслящую Россию. Старый гегельянец Чернышевский с одинаковой свежестью и жаждой борьбы переходил от публицистической полемики к философскому трактату, политико-экономическому исследованию и к тенденциозному роману. Литературная критика, как выдающееся средство бороться с реакцией в самых ее сокровенных уголках и систематически пропагандировать прогрессивную идеологию,—нашла после Белинского и Добролюбова блестящего представителя в лице Михайловского, десятки лет владевшего общественным мнением и оказавшего большое влияние и на духовное развитие Короленко. Толстой на-ряду с романом, рассказом и драмой пользовался для пропаганды своих идей нравоучительной сказкой и полемическим памфлетом. Короленко, с своей стороны, постоянно менял кисть и палитру художника на клинок журналиста для того, чтобы выразить свое отношение к насущным вопросам социальной жизни и принять непосредственное участие в борьбе текущего дня.

К постоянным особенностям строя старой царской России принадлежат на-ряду с пьянством, неграмотностью и дефицитом бюджета — хронические голодовки. Как плод своеобразно проведенной «крестьянской реформы» при уничтожении крепостного права, подавляющих податей и крайней отсталости сельско-хозяйственной техники, неурожай посещал крестьян через каждые два года под ряд в течение всего восьмого десятилетия прошлого века. В 1891 году он достиг своего апогея: в 20 губерниях, после необыкновенной засухи, последовал полный неурожай, и голод достиг поистине ветхозаветных размеров.

В официальном обследовании о размерах неурожая, среди более семисот ответов из различнейших местностей, оказалось следующее описание, принадлежащее перу простого священника одной из центральных губерний.

— «Неурожай надвигался в течение трех лет, одна беда за другой шла на крестьянина. Появились гусеницы, саранча пожирает рожь, черви объедают ее, жуки истребляют остатки. Урожай уничтожен на поле, семена засохли в земле, амбары пусты, хлеба нет. Скот стонет и падает, вяло тащатся стада быков, овцы погибают, для них нет корма... Миллионы деревьев,

десятки тысяч изб пожраны огнем. Нас окружали огненные стены и столбы дыма... Как сказано у пророка Софонии: «Все истреблю с лица земли—говорит Господь—истреблю людей и скот, диких зверей, птиц небесных и рыб морских». Какое множество из царства пернатых погибло во время лесных пожаров, как много рыбы погибло во время мелководья!.. «Лоси разбежались из наших лесов, куницы исчезли, белки погибли. Небо закрылось и стало твердым, как медь — не падает больше роса, а лишь засуха и огонь. Фруктовые деревья, трава и цветы — засохли, не созревает нигде ни малина, ни голубика, ни ежевика, ни брусника, все торфяники и болота выгорели... Куда девалась свежая лесная зелень, чудный воздух, бальзамический аромат сосен, приносивший исцеление больным? Все погибло»...

В заключение автор, как опытный русский «подданный», покорнейше просит «не привлекать его к ответственности» за вышеописанное.

Опасение доброго деревенского попа было не без основания: всесильная дворянская фронда объявила весь голод—как ни невероятно это звучит—злостной выдумкой «подстрекателей» и считала всякую помощь излишней...

Тогда между реакционным лагерем и прогрессивной интеллигенцией по всей линии возгорелась борьба. В русском обществе возникло брожение, литература забила тревогу. Помощь голодающим была организована в самых широких размерах. Врачи, писатели, студенты и курсистки, учителя, интеллигентные женщины бросились сотнями в деревню для организации народного питания, раздачи семян, закупки зерна по дешевым ценам, для ухаживания за больными. Но это было не так просто. Обнаружилась вся путаница и давно вкоренившееся расстроенное хозяйство в стране, управляемой бюрократами и военными, где каждая губерния и каждый уезд представляли отдельную сатрапию. Соперничество, междуведомственные споры и разногласие между губернскими и уездными властями, между правительственными органами и земским самоуправлением, между волостными писарями и крестьянской массой, к тому еще хаос понятий, надежд и требований самих крестьян, их недоверие к горожанам, противоположность между богатой деревенской буржуазией и обездоленной

массой—все это неожиданно встало перед интеллигенцией в виде приводивших ее в отчаяние тысяч преград и препятствий ее добрым желаниям. Ярко выступили все бесчисленные местные злоупотребления и притеснения, которым до того времени крестьянство подвергалось в тиши изо дня в день, вся бессмысленность и противоречия бюрократизма, и борьба с голодом, сама по себе являвшаяся простым актом благотворительности, превратилась сама собой в борьбу с социальным и политическим режимом самодержавия.

Короленко, как и Толстой, стал во главе прогрессивной интеллигенции и посвятил этому делу не только свое перо, но и все свои силы. Весной 1892 г. он отправился в один из уездов Нижегородской губернии, в самое осиное гнездо реакционной дворянской фронды для того, чтобы организовать в голодающих деревнях питательные пункты. Совершенно незнакомый с местными условиями, он вскоре вошел во всякую мелочь и предпринял непримиримую борьбу с тысячами преград, возникших на его пути. Четыре месяца он оставался в уезде, переходя из деревни в деревню, от одной инстанции к другой, причем по целым ночам в крестьянских избах, при слабом свете стенной лампочки заполнял свой дневник и в то же время вел непрерывно в столичных газетах горячую, оживленную борьбу с реакцией. Его дневник, где в ужасных картинах изображена вся Голгофа русской деревни — нищенствующие дети, безмолвные, словно окаменевшие матери, плачущие старики, болезнь и безнадежность — является бессмертным памятником царского режима.

За голодом следовал второй апокалиптический всадник — эпидемия. В 1893 г. из Персии была занесена по низовьям Волги, вверх по реке, холера, охватившая своим смертоносным дыханием истощенные голодом апатические деревни. Отношение царских органов управления к этому новому врагу производит впечатление анекдота, но это было горькой правдой: бакинский губернатор скрылся от эпидемии в горы, саратовский губернатор спасся бегством на пароход, когда возникли народные волнения. Астраханский губернатор решил, наконец, вопрос: он отправил в Каспийское море дежурные пароходы, которые закрыли доступ на Волгу всем судам, идущим из Персии и с Кавказа, как подо-

зрительным по холере, но не снабжал содержавшихся в карантине ни хлебом, ни водой. Таким образом более 400 пароходов и барок были арестованы, и 10.000 человек — больных и здоровых вместе — были предоставлены гибели от эпидемии, голода и жажды. Наконец, к Астрахани прибыл по Волге пароход, как вестник попечения начальства. Взоры истомленных с надеждой обратились к спасительному кораблю. Он привез гробы...

Тогда грянул гром народного гнева. Как молния, распространилась вверх по Волге весть об аресте и мучениях заключенных в карантине на Каспийском море. Вслед за этим раздался клич отчаяния: начальство умышленно распространяет эпидемию для того, чтобы истребить народ... Первыми жертвами «холерных бунтов» были санитары, мужчины и женщины из интеллигенции, которые самоотверженно и героически поспешили в деревни для устройства бараков, ухаживания за больными и мероприятий для спасения здоровых. Бараки были сожжены, врачи и сестры милосердия перебиты. Следствием этого явились карательные экспедиции, кровопролитие, военные суды и казни. В одном Саратове вынесено 20 смертных приговоров... Чудный приволжский край вновь превратился в дантовский ад.

И лишь высокий нравственный авторитет и глубокое понимание нужд и психики крестьян могли внести свет и смысл в этот кровавый хаос, и для этой роли — кроме Толстого — не подходил в России никто больше, чем Короленко. Он очутился на своем посту одним из первых, пригвоздил к позорному столбу истинных виновников беспорядков — самодержавную администрацию и снова дал обществу потрясающий памятник одинаковой ценности, как исторической, так и художественной, в виде статьи «Холерный карантин».

В старой России смертная казнь за уголовные преступления давно отменена. В нормальное время казнь являлась отличием, сохраненным лишь для политических преступников. Смертная казнь получила особенно широкое применение в 70-х годах, когда оживилось террористическое движение, и после покушения на Александра II царское правительство не остановилось даже перед тем, чтобы послать на виселицу женщин, как знаменитую Софью Перовскую и Гесю Гельфман. Во всяком случае, в то время и

позже, казни практиковались в исключительных случаях и вызывали всякий раз в обществе содрогание. Когда в 80-х годах были казнены четыре солдата «дисциплинарного баталиона» за убийство фельдфебеля, систематически мучившего и оскорблявшего их, чувствовалось даже в покорном, угнетенном настроении тех годов, что общественное мнение как бы застыло в немом ужасе.

Все это изменилось со времени революции 1905 года. После того, как насилие самодержавия в 1907 году снова одержало верх, началась кровавая расправа. Военные суды работали день и ночь, виселицы не знали отдыха. Сотнями казнили совершивших покушения, участников вооруженных восстаний, в особенности же так называемых «экспроприаторов», большею частью подростков, часто при недостаточном соблюдении формальностей, с «неопытными» палачами, на непрочных веревках и фантастически импровизированных виселицах. Контр-революция справляла свои оргии.

Тогда возвысил свой голос Короленко, громко протестуя против торжествующей реакции. Серия его статей, вышедших в 1909 г. под названием «Бытовое явление», носит все черты его таланта. Точно так же, как и в его книге о голодном и о холерном годах, мы не находим здесь никаких фраз, никакого шумного пафоса, ни сантиментальности, ничего, кроме величайшей простоты и деловитости, скромного собрания фактического материала, писем казненных, наблюдений их соседей по камерам. Но эта простая коллекция материалов отличается столь глубоким проникновением во все подробности человеческих мук, во все ужасы терзаемой человеческой души и во все уголки общественного преступления, заключающегося во всяком смертном приговоре, она проникнута такой сердечной теплотой и высокой нравственностью, что маленькая брошюрка стала потрясающим обвинением.

Восьмидесятидвухлетний Толстой под свежим впечатлением этой серии его статей писал Короленко: «Сейчас прослушал вашу статью о смертной казни и всячески во время чтения старался, но не мог удержать не слезы, а рыдания. Не нахожу слов, чтобы выразить вам мою благодарность и любовь за эту, по выражению

и по мысли, а главное по чувству, превосходную статью. Ее надо перепечатать и распространять в миллионах экземпляров. Никакие думские речи, никакие трактаты, никакие драмы, романы не произведут одной тысячной того благотворного действия, какое должна произвести эта статья.

«Она должна произвести это действие потому, что вызывает такое чувство сострадания к тому, что переживали и переживают эти жертвы людского безумия, что невольно прощаешь им, какие бы ни были их дела... Кроме всех этих чувств, статья ваша не может не вызывать и еще другого чувства, которое я испытываю в высшей степени, — чувство жалости не к одним убитым, а еще и к тем обманутым простым людям, которые совершают эти ужасы, не зная, что творят. Радует одно то, что такая статья, как ваша, объединяет многих и многих живых, неразвращенных людей одним общим всем идеалом добра и правды, который, что бы ни делали враги его, разгорается все ярче и ярче».

Приблизительно пятнадцать лет тому назад одна немецкая газета предприняла анкету среди самых выдающихся представителей науки и искусства о смертной казни: самые громкие имена в литературе и юриспруденции, цвет интеллигенции в стране мыслителей и поэтов горячо высказались *за* смертную казнь. Для мыслящих наблюдателей это было одним из симптомов, подготовлявших ко многому, пережитому в Германии во время мировой войны.

В 90-х годах в России состоялся знаменитый процесс «мультанских вотяков». Семеро крестьян-вотяков деревни Большой Мультан в Вятской губернии — полуязычники и полудикари — были обвинены в ритуальном убийстве и присуждены к каторжным работам.

Особенностью современной цивилизации является то, что народные массы, когда они, по той или иной причине, испытывают нужду, время от времени делают козлом отпущения членов другого народа, другой расы, религии, другого цвета кожи, на которых они вымещают свое скверное настроение, и после этого, освеженные, возвращаются к своим обычным занятиям. Понятно, что роль козла отпущения играют лишь слабые, исторически

обиженные или социально подавленные национальности. Ибо потому именно, что они слабы или уже однажды обижены историей, их можно безнаказанно подвергнуть дальнейшим обидам. В Соединенных Штатах это выпадает на долю негров. В Западной Европе эту роль играют иногда итальянцы.

Около двадцати лет тому назад в пролетарской части Цюриха — Аусерзиле — по случаю одного детоубийства — был устроен небольшой итальянский погром. Во Франции название местности Aigues-Mortes напоминает о достопамятной вспышке рабочих масс, которые в раздражении понижением заработной платы, вызванным итальянскими непритязательными бродячими рабочими, вздумали внушить им высшие культурные потребности по способу их первобытного предка, Homo Hauseri из Дордони. Впрочем, с возникновением мировой войны в неожиданной степени проявились и «неандертальские» традиции. «Великая эпоха» ознаменовалась в стране мыслителей и поэтов внезапным массовым регрессом к инстинктам современников мамонта, пещерного медведя и косматого носорога.

При всем том царская Россия не была еще вполне культурной страной, и преследование чужих народностей было там, как и всякая общественная деятельность, не проявлением народной психики, а монополией правительства, и поэтому обычно организовалось в соответствующие моменты правительством через государственные органы и при помощи государственной водки.

Мультанское дело о ритуальном убийстве было во всяком случае лишь маленьким второстепенным эпизодом царской внутренней политики, которая старалась то там, то здесь хоть отчасти дать выход угнетенному настроению голодных и безответных масс. Но русская интеллигенция, с Короленко во главе, вступилась за полудиких вотяков. Короленко отдался делу со всем своим пылом и распутал сеть недоразумений и подлогов с деловитостью, терпением и лойяльностью, с неошибающимся чутьем правды, напоминающими Жореса в деле Дрейфуса. Короленко мобилизовал прессу, общественное мнение, добился пересмотра дела, приняв на себя лично защиту перед судом, и, наконец, добился оправдательного приговора.

Самым излюбленным объектом «громоотводной» политики было на востоке с давних пор, конечно, еврейское население, и еще вопрос, сыграло ли оно эту благодарную роль окончательно. Во всяком случае есть что-то стильное в том обстоятельстве, что последний большой общественный скандал, которым покончило с этим миром самодержавие, так сказать, последний штрих русского ancien régime выразился в еврейском ритуальном процессе— знаменитом процессе Бейлиса в 1913 году. Как отставший солдат мрачного контр-революционного периода 1907—1911 г.г. и в то же время как символический предвестник мировой войны, киевский процесс о ритуальном убийстве тотчас стал центром общественного интереса. Вся прогрессивная интеллигенция России считала дело киевского еврея Бейлиса своим делом, и процесс превратился в генеральное сражение между передовым и реакционным лагерями России. Выдающиеся юристы, лучшие публицисты приняли участие в деле. После всего вышесказанного, нечего и говорить, что во главе их был Короленко. Непосредственно перед тем, как должна была подняться кровавая завеса мировой войны, русская реакция потерпела оглушительное моральное поражение: под напором оппозиционной интеллигенции обвинение в ритуальном убийстве рухнуло, и одновременно обнаружились признаки разложения царского правительства; уже мертвое и сгнившее внутри, оно только ждало окончательного удара освободительного движения. Мировая война дала ему лишь последнюю краткую отсрочку.

Но не только общественное дело помощи и моральный протест против всякой несправедливости всегда находили в Короленко своего выразителя. В восьмидесятых годах, после покушения на Александра II в России установился период беспросветной безнадежности. Либеральные реформы шестидесятых годов всюду в судах и в земском самоуправлении подвергались ограничительному пересмотру. Могильная тишина царила под свинцовой тяжестью правления Александра III. Русским обществом, которое было одинаково приведено в уныние как гибелью всякой надежды на мирные реформы, так и видимой безуспешностью революционного движения, овладело угнетенное, безнадежное настроение.

В этой атмосфере апатии и робости среди русской интеллигенции возникли метафизически-мистические течения, представительницей которых явилась философская школа Соловьева. Ясно чувствовалось влияние Ницше, в художественной литературе царил безнадежно-пессимистический тон рассказов Гаршина и стихотворений Надсона. Но главным образом отвечал этому настроению мистицизм Достоевского, выразившийся в «Братьях Карамазовых», и особенно аскетическое учение Толстого. Проповедь «непротивления злу», осуждение всякого насилия в борьбе с царившей реакцией, которой нужно противопоставлять лишь «внутреннее самоусовершенствование» индивидуума — эти теории социальной пассивности представляли, при настроении восьмидесятых годов, серьезную опасность для русской интеллигенции, тем более, что она могла пользоваться столь обольстительным средством, как творчество и моральный авторитет Льва Толстого. Михайловский, духовный вождь «народнического» направления, выступил после этого с горьким возражением против Толстого. С своей стороны выступил и Короленко. Нежный поэт, которого всю жизнь сопровождало какое-нибудь воспоминание из детских лет в шумящем лесу, странствование в темный вечер через пустынное поле в раннем детстве, какой-нибудь деревенский пейзаж со всеми оттенками освещения и настроения, он, для которого всякая политическая партийность всегда являлась по существу чем-то чуждым и отталкивающим,—теперь решительно возвысил свой голос для того, чтобы проповедывать боевую меченосную ненависть и деятельное сопротивление. На легенды, притчи и рассказы Толстого в евангельском духе Короленко ответил «Сказанием о Флоре».

В Иудее господствовали римляне огнем и мечом, обирали страну и разоряли жителей. Народ стонал и сгибался под ненавистным игом. Тронутый страданиями своего народа, выступает мудрый Менахем, сын Иегуды, и, взывая к героическим преданиям праотцев, проповедует восстание против римлян, «священную войну». Против него выступает секта мягкосердечных ессеев, которые, подобно Толстому, отвергают всякое насилие и видят спасение лишь во внутреннем совершенствовании, в отречении от мира и воздержании. «Ты сеешь зло учением, которое зовет

борьбу!» кричат они Менахему. «Когда осаждают город и город сопротивляется, то осаждающие предлагают жизнь кротким, а мятежных предают смерти. Мы проповедуем народу кротость, чтобы он мог избегнуть гибели... Воду не сушат водой и огонь не гасят пламенем. Так и силу не побеждают силой, которая есть зло».

На это Менахем, сын Иегуды, ответил твердо:

— «Сила руки не зло и не добро, а сила; зло же или добро в ее применении. Сила руки — зло, когда она подымается для грабежа и обиды слабейшего; когда же она поднята для труда и защиты ближнего,—она добро. Огонь не тушат огнем, а воду не заливают водой. Это правда. Но камень дробят камнем, сталь отражают сталью, а силу—силой... И еще: насилие римлян — огонь, а смирение ваше — дерево. Не остановится, пока не поглотит всего».

«Сказание» заканчивается молитвой Менахема: «О, Адонаи! Адонаи! Пусть никогда не забудем мы, доколе живы, завета борьбы за правду. Пусть никогда не скажем: лучше спасемся сами, оставив без защиты слабейших... И я верю, о, Адонаи, что на земле наступит твое царство!.. Исчезнет насилие, народы сойдутся на праздник братства, и никогда уже не потечет кровь человека от руки человека».

Это упорное верование пронеслось, как свежий ветерок, через удушливый туман беспечности и мистики. Короленко подготовил с своей стороны пути для новой исторической силы в России, которая вскоре должна была поднять свою благодетельную руку: руку труда, равно как и освободительной борьбы.

IV.

Недавно вышло немецкое издание воспоминаний Максима Горького, которые во многих отношениях представляют интересную параллель к «Истории моего современника» Короленко.

Как художники, оба эти писателя являются известного рода антиподами. Короленко, подобно так высоко ценимому им Тургеневу, насквозь лирическая натура, нежная душа, человек мягкой настроенности. Горький—в этом отношении преемник Достоев-

ского—человек ярко выраженного драматического мировоззрения, сосредоточенной энергии, действия. У Короленко, видящего все ужасы социальной жизни, все-таки величайшие ужасы, точно так же как у Тургенева, являются в известной смягчающей перспективе настроения, обвеяны тонким ароматом поэтической мечты, красот природы. Для Горького и Достоевского даже трезвая будничная жизнь полна страшных призраков, мучительных видений, которые изображены с беспощадной резкостью, так сказать— без воздуха и перспективы, в большинстве случаев с полным пренебрежением к пейзажу.

Если драма, по превосходному выражению Ульрициа, есть поэзия действия, то драматический элемент в романах Достоевского неоспорим. Они настолько полны действия, событий и напряжения, что их нагромождающееся друг на друга, спутывающее все чувства изобилие подавляет эпический элемент романа и грозит ежеминутно нарушить его границы. И после того, как прочитан с захватывающим вниманием один или два толстых тома, большею частью почти незаметно, что были свидетелями событий, развернувшихся в течение всего лишь двух—трех дней. Не менее характерно для драматического склада Достоевского еще то, что главный узел действия завязывается уже в начале его романов, большие конфликты созрели и готовы разыграться. Их медленная и предшествующая эволюция, их созревание не переживаются, а читателю предоставляется воспроизводить это прошлое на ходу действия. Горький избирает для их изображения драматическую форму даже тогда, когда хочет изобразить воплощенную неспособность к активности, банкротство человеческой энергии, как в «На дне» и в «Мещанах», и он умеет здесь вдохнуть жизнь в их бледный облик.

Короленко и Горький являются представителями не только двух поэтических типов, но и двух поколений русской литературы и освободительной идеологии. Для Короленко средоточие интереса все еще представляет собой крестьянин; для Горького же—горячего адепта немецкого научного социализма—городской пролетарий и его тень—босяк. В то время как у Короленко естественной рамкой рассказа служит пейзаж, у Горького—это мастерская, подвал, ночлежка.

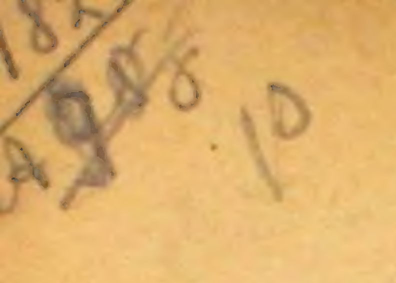
Ключом к пониманию личностей обоих художников служит глубоко различная история их жизни. Короленко, выросший в привольных буржуазных условиях, с детства проникся нормальным чувством неизменности, устойчивости мира и его дел, как это свойственно всем счастливым детям. Горький, вышедший отчасти из мещан, отчасти из босяков, выросший в обстановке ужасов, пороков и примитивных проявлений человеческих страстей, совершенно в духе Достоевского,—уже ребенком огрызается как травленый волченок и показывает судьбе свои острые зубы. Это детство, полное лишений, горя, унижений, с чувством неуверенности, неустойчивости, кидания с места на место, в ближайшем соседстве с подонками общества, содержит в себе все типичные черты жизни современного пролетариата. И только тот, кто читал воспоминания Горького, может измерить и оценить его изумительный взлет из этих социальных низов на самую вершину современной образованности, гениального искусства и научно обоснованного миросозерцания. И в этом отношении личная судьба Горького служит символом русского пролетариата, как класса, который среди грубости и суровости внешней некультурности в царской империи—через суровую школу борьбы дозрел в поразительно короткий срок из двух десятков лет до исторической активности. Это несомненно непонятное явление для всех культурных филистеров, считающих культурой хорошее уличное освещение, правильное железнодорожное сообщение и чистый воротничок и видящих политическую свободу в усердной трескотне парламентских мельниц.

В могучих чарах поэзии Короленко лежит и ее ограниченность. Короленко всецело пребывает в настоящем, в переживаемом моменте, в впечатлениях чувств. Его рассказы представляют как бы букет свежесобранных полевых цветов: время губительно для их яркой окраски, их чудного аромата. Россия, изображаемая Короленко, не существует больше, это Россия вчерашнего дня. Нежное, поэтическое, мечтательное настроение его родины и его людей—прошло. Уже полтора десятка лет тому назад оно уступило место трагическому, грозовому настроению Горького и его соратников, звонкоголосым буревестникам революции. Даже у самого Короленко оно вынуждено было отступить перед боевым

настроением. У него, как и у Толстого, в конце концов социальный борец, великий гражданин победил поэта и мечтателя. Когда Толстой стал в восьмидесятых годах проповедывать свое нравственное евангелие в новой литературной форме маленьких народных рассказов, Тургенев обратился к яснополянскому мудрецу с умоляющим письмом, прося его от лица родины вернуться на ниву искусства. О благоуханной поэзии Короленко также скорбели его друзья, когда он со всем пылом бросился в публицистику. И дух русской литературы—высокое социальное чувство ответственности—оказалось у этого вдохновенного писателя даже сильнее, чем любовь к природе, к свободной кочевой жизни, к поэтическому творчеству. Захваченный волной надвигающейся революционной бури, он постепенно умолкает, как поэт, в конце девяностых годов, и вместо того начинает сверкать его меч, как борца за свободу, и он становится центром оппозиционного движения русской интеллигенции. «История моего современника», появившаяся в 1906—1910 годах в журнале «Русское Богатство», редактором которого был Короленко,—это последний плод его музы, еще наполовину поэзия, но всецело правда, как и все, нашедшее воплощение в этой жизни.

Бреславльская тюрьма.
Июль 1918 года.

Библиотека
Института Ленина
при Ц. К. В. К. П. (б.)




ЗНАНИЕ
СИЛА
РСФСР